

## Россия как многонациональная империя: итоги и перспективы изучения

Ольга Большакова

**Russia as a multinational empire: research outcomes and prospects**

*Olga Bolshakova*

*(Institute of Scientific Information on Social Sciences,  
Russian Academy of Sciences, Moscow)*

DOI: 10.31857/S086956870016234-8

Изучение России как империи является сегодня одним из ведущих и активно развивающихся направлений в историографии. Принято считать, что «всё началось» с публикации в 1992 г. книги швейцарского историка А. Каппелера «Россия — многонациональная империя», которая вскоре была переведена на разные языки<sup>1</sup>. На самом деле та готовность, с которой её приняло научное сообщество, обуславливалась особой актуальностью проблемы в условиях распада СССР на 15 суверенных государств и острой нехваткой исследований такого рода. Позже Каппелер отмечал, что интерес к имперскому опыту России в постсоветском обществе был тогда очень высок и публицистика в данном случае шла впереди научных изысканий. Он утверждал, что российская история «не может быть раскрыта без понимания общего полиэтнического контекста», и в своей книге постарался «откорректировать русоцентристский взгляд», воспринимавший её — особенно на Западе — как «историю русских»<sup>2</sup>.

За прошедшие с тех пор без малого 30 лет количество работ, в которых Россия предстаёт как многонациональная империя, разросло невероятно, и для анализа всей их совокупности потребовалась бы фундаментальная монография. Однако особого внимания заслуживает та, не самая большая, но крайне существенная для российского читателя, часть вышедшей литературы, которую традиционно называли «зарубежной историографией», разделяя в зависимости от языка публикации на англо-американскую, немецкую, французскую и т.п. Сегодня, когда уроженцы разных стран обучаются и защищают диссертации в европейских и североамериканских университетах (и вовсе не обязательно возвращаются работать на родину), сообщество зарубежных русистов стало поистине космополитичным. Оно включает выходцев из России, Европы и Азии — от Скандинавии до Китая. Свои работы они по большей части публикуют на английском, который стал языком научной коммуникации.

Безусловно, национальная историография повсеместно сохраняет господствующие позиции при освещении прошлого родной страны. К тому же по своим размерам она обычно намного превосходит «зарубежную», которую в

---

© 2021 г. О.В. Большакова

<sup>1</sup> *Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992; Каппелер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 1997.*

<sup>2</sup> *Каппелер А. «Россия — многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab imperio. 2000. № 1. С. 16—17, 27.*

современных условиях следовало бы назвать «мировой» или «транснациональной». Тем не менее всё больше исследователей выпускают свои труды на английском, участвуют в международных конференциях и грантах, что ведёт к частичной интеграции русистики. Если изобразить нынешнее соотношение «мировой» и «национальной» историографий России графически, это будет выглядеть как две пересекающиеся окружности, из которых вторая значительно больше первой.

В годы холодной войны «железный занавес» разделял не только социалистический и капиталистический мир, но и научные школы. В те времена «западная» историография России (где доминировали представители США) претендовала на научный приоритет — большую полноту анализа, непредвзятость и разнообразие подходов, тогда как советских историков существенно ограничивал диктат марксистско-ленинской идеологии. По мере его ослабления и особенно после его окончательного крушения сотрудничество зарубежных русистов с их российскими коллегами активизировалось, а затем сказались и общие тенденции глобализации науки и образования.

В последние десять лет произошла «интернационализация» исследований, посвящённых России и Восточной Европе (Russian and East European Studies). На её необходимость ещё в 2000 г. указала редакционная коллегия американского журнала «Критика» («*Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*»). Способствует ей и журнал «*Ab imperio*», выходящий одновременно в Казани и Нью-Йорке и изначально созданный для освещения проблематики, связанной с империализмом и национализмом на постсоветском пространстве. В журнале сформулировали программу изучения «западного колониализма и династических территориально-протяжённых империй» (правда, в ней сразу же обозначился крен в сторону социологии, политологии, этнологии)<sup>3</sup>. Свой вклад в интеграцию вносит также издательство «Новое литературное обозрение», уделяющее большое внимание имперской истории России. Наряду с переводами новейшей западной литературы, оно выпускает всё больше совместных трудов иностранных и отечественных учёных, а также историков из бывших республик Советского Союза<sup>4</sup>.

Тем не менее, при всех интеграционных процессах, между национальной (отечественной) и зарубежной (транснациональной) историографией сохраняются существенные водоразделы, пролегающие прежде всего в области методологии. В России лишь в малой степени восприняли «имперскую парадигму», ставшую основой так называемого имперского поворота в исторической науке, который произошёл на Западе на рубеже 1980—1990-х гг. в связи с резко возросшим интересом к этничности и национализму. Безусловно, историки начали учитывать этническое и конфессиональное разнообразие страны, тер-

---

<sup>3</sup> См. публикации, подготовленные коллективом журнала: Новая имперская история постсоветского пространства. Сборник статей / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, А.М. Семёнова. Казань, 2004; *Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire*. Leiden, 2009; Новая имперская история Северной Евразии / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, М.Б. Могильнер. Ч. 1—2. Казань, 2017.

<sup>4</sup> См., в частности: *Сартори П., Шаблей П.* Эксперименты империи: адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М., 2019; *Таки В.* Россия на Дунае: империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834 годы. М., 2021. Показательна биография В. Таки: родившись и получив образование в Молдавии, он защитил диссертацию в Центрально-Европейском университете в Будапеште, затем работал в университете Альберты (Канада) и в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ, после чего вновь переехал в Канаду.

мин «империя» стал практически обязательным при рассмотрении её истории XVIII—XIX вв. и желательным — для всего периода Раннего Нового времени. Отношение к Российской империи, которая ранее ассоциировалась с отсталостью и угнетением и осуждалась как «тюрьма народов», стало значительно более позитивным. Однако зачастую этим всё и ограничивается.

Между тем «имперский поворот» не только активизировал изучение империй как таковых, но и предложил иной взгляд на государственные формы, характеризующиеся высоким уровнем централизации власти и иерархической структурой наряду со значительным этнокультурным, языковым и правовым разнообразием управляемых территорий. К этим историческим «долгожителям», существовавшим по своим законам, неприменимы обычные мерки национального государства. В рамках активно развивающейся «новой имперской истории» их взаимодействие и соперничество рассматриваются в контексте «глобального» исторического процесса, в котором европейский «Запад» не выступает уже в роли ведущей силы во множестве неуправляемых процессов и случайных событий.

«Новая имперская история» тесно связана с постколониальными исследованиями, с их интересом к этничности и — что было особенно актуально в 1990-е гг. — к формированию идентичности. В отличие от «старой», занимавшейся изучением экономики, политики и военной экспансии, она придаёт большое значение человеческой субъективности и опирается на категории культуры, гендера и расы<sup>5</sup>. В центре её внимания — взаимодействие колонизаторов и колонизируемых, которое далеко не всегда сводится к прямому угнетению и репрессиям. Как писали редакторы журнала «Критика», «на смену “сосредоточению войск” пришёл дискурс, иностранному нашествию — культурные программы, прямому угнетению — микротехнологии власти»<sup>6</sup>. В «новой имперской истории» произошла существенная трансформация методологии. Так, при анализе источников, наряду с «медленным чтением» (*close reading*), теперь повышенное внимание уделяется языковым конструкциям и «маргинальным» точкам зрения. Неудивительно, что важное место в изучении империй отводится антропологии, культурологии (*cultural studies*), этнологии, гендерным исследованиям.

В зарубежной русистике «новая имперская история» получила большое развитие, хотя в ней используются далеко не все аспекты «имперской парадигмы»<sup>7</sup>. Тем не менее в её методологии и проблематике произошли существенные изменения. Трансформировались и общие представления об империи. Их теоретические основы в конце XX — начале XXI в. обсуждались в ведущих журналах («The Russian review», «Kritika», «Ab imperio» и др.), проводивших дискуссии и круглые столы с участием социологов и политологов<sup>8</sup>. Ими пред-

<sup>5</sup> Ghosh D. Another set of imperial turns? // American historical review. 2012. Vol. 117. № 3. P. 772.

<sup>6</sup> Some paradoxes of the «new imperial history» // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1. № 4. P. 624.

<sup>7</sup> Есть отличные книги, не придерживающиеся «имперской парадигмы»: Lieven D. Empire: The Russian Empire and its rivals. New Haven, 2000; LeDonne J. Forging a unitary state: Russia's management of the Eurasian space, 1650—1850. Toronto, 2020.

<sup>8</sup> Imperial dreams // The Russian review. 1994. Vol. 53. №. 3. P. 331—381; Ethnicity and nationality in imperial Russia // The Russian review. 2000. Vol. 59. № 4. P. 487—576; Ex tempore: Orientalism and Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2000. Vol. 1. № 4. P. 691—727; Политическая история империи — политическая история нации: на пути к синтетическому методу? // Ab imperio. 2002. № 2. С. 89—132. Кроме того, на рубеже веков вышло несколько значимых сборников: Russia's

лагались разнообразные дефиниции, которые удовлетворительно описывали бы и Россию, определялись принципы типологии. Тогда был проведён водораздел между «классическими» колониальными империями Западной Европы с их «заморскими» владениями и империями континентальными (Российской, Османской, Габсбургской). Принадлежность к двум разным типам подтверждалась и хронологически: континентальные империи исчезли после Первой мировой войны, а «морские» — вследствие Второй. Их распад косвенно подтверждал то, что СССР также являлся империей и рухнул, «не справившись» с национализмом, как ранее «не справился» с ним царизм.

Прежде социальные науки давали историкам готовую схему: империя, будучи домодерным феноменом, неизбежно идёт к распаду, уступая место современному национальному государству. Для этой «архаичной» государственной формы характерны безраздельная власть правителя, насильственные методы управления, неравноправие и дискриминация; властные отношения в ней строятся по вертикали и по оси центр—периферия, а социальная структура строго иерархична. В конечном счёте отсталые империи противопоставлялись прогрессивным и эффективным национальным государствам, основанным на равенстве и признании гражданских свобод. Эта схема исходила из теории модернизации и более общих представлений об историческом процессе как стадийном поступательном движении человечества к демократии западного типа. Она органично вписывалась в либеральную критику империй и империализма, безраздельно господствовавшую в западном общественном мнении и науке после Второй мировой войны.

Однако постколониальные исследования конца XX в. развивались уже в ином интеллектуальном климате — в условиях острой критики национализма, европоцентризма и идеи прогресса как таковой. Они изначально оспаривали «нормативный» характер теории модернизации, согласно которой условный «Запад» и такие его черты, как парламентская демократия, свобода предпринимательства, рыночная экономика и национальное государство, превращались в незыблемый эталон для всего мира. В новой системе координат колониализм видели уже не только как форму прямого господства и эксплуатации — речь шла о «дискурсивной власти», когда жители колонируемых территорий описывались европейцами как низшие по уровню развития и незрелые по сравнению с великодушными колонизаторами. Согласно разработанной Э. Саидом концепции ориентализма, учитывавшей идеи А. Грамши о субалтерновых (подчинённых) группах и М. Фуко о «власти/знании», описание «Востока» при помощи западных категорий приобретало авторитет универсальной «научности», не допуская самовыражения восточных народов. Тем самым подобное «знание» оказывалось инструментом колониального правления и одновременно служило самоутверждению Европы. Кроме того, говорилось об уничижительности модели «центр—периферия»<sup>9</sup>, о серьёзном влиянии колоний на метрополию и о том, что колониальное правление представляет собой систему взаимных уступок.

---

Orient: Imperial borderlands and peoples, 1700—1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzerini. Bloomington, 1997; Imperial Russia: New histories for the empire / Ed. by J. Burbank, D.L. Ransel. Bloomington, 1998; Of religion and empire: Missions, conversion, and tolerance in tsarist Russia / Ed. by R.P. Geraci, M. Khodarkovsky. Ithaca, 2001.

<sup>9</sup> О периферийности «центра» при рассмотрении его из колоний см.: Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton, 2000.

Спор о применимости в русистике схемы Саида обнажил серьёзные методологические проблемы. Ведь, оставаясь для Европы в каких-то отношениях «Востоком», Россия выступала как «Запад» на своих азиатских окраинах. Поэтому среди зарубежных авторов преобладает мнение, что она занимала особое, двойственное положение «между Востоком и Западом», и это обуславливало её «необычную» толерантность к восточным подданным<sup>10</sup>.

Так или иначе, фокус исследований сместился от центра к окраинам, к особенностям государствовождения в «имперской ситуации» и проблемам национальной идентичности — в том числе и русской, которая выковывалась во взаимодействии с другими народами. Изменился и общий ракурс: если раньше описывалась преимущественно модель «упадка» империи, неудержимо двигавшейся к своему краху, то теперь, в рамках «новой имперской истории», исследователи обратились к факторам её многовековой стабильности и процветания. При этом в новейшей литературе выделяются тематические «кластеры», требующие самостоятельного рассмотрения.

**История с географией.** Изучение России как империи, а не национального государства, неизбежно влечёт за собой фрагментацию исследований по регионам при расширении их географического охвата. Первоначально зарубежные историки обратили свой взгляд на западные окраины России, а также на Поволжье и Кавказ, затем — на Среднюю Азию и Русскую Америку, а в последние годы — на русско-китайское пограничье.

С 1990-х гг. в работах о России всё чаще использовался термин «Евразия». Исследователи и теоретики достаточно быстро оценили его эвристический и «освободительный» потенциал, позволяющий осознать проницаемость границ, увидеть культурное разнообразие контактных зон, сосредоточить внимание на империях и диаспорах, не вписывая их, как прежде, в рамку национальных историй<sup>11</sup>. Это привело даже к переименованию некоторых научных институций и журналов, сменивших в названиях «Russian» на «Eurasian». Для транснациональной историографии (в отличие от отечественной) этот топоним выглядит политически нейтральным, а его употребление свидетельствует обычно о желании преодолеть бытовавшую в годы холодной войны фиксацию на изолированности стран и регионов<sup>12</sup>. Вместе с тем это дало новый импульс для сравнений России с другими «евразийскими империями» позднего Средневековья и Раннего Нового времени, а также стимулировало интерес к контактным зонам между ними. И тут довольно быстро американскую концепцию фронта вытеснило понятие «пограничья», или «окаин» (*borderlands*).

Осмыслению этого феномена посвящена фундаментальная монография одного из крупнейших американских историков-русистов А. Рибера, сравнившего путь пяти империй (Габсбургов, Российской, Османской, Сефевидской и Цинской) с момента образования до почти одновременного распада в 1911—1923 гг. Он представил историю Евразии как «борьбу за окраины», происходившую на периферии этих держав и протекавшую на двух уровнях: «сверху, в ходе

<sup>10</sup> См., в частности: *Orientalism and empire in Russia* / Ed. by M. David-Fox, P. Holquist, M. Martin. Bloomington, 2006.

<sup>11</sup> *Hagen M., von.* Empires, borderlands, and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // *American historical review*. 2004. Vol. 109. № 2. P. 445—468.

<sup>12</sup> *Kotkin S.* Mongol Commonwealth? Exchange and governance across the Post-Mongol space // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. 2007. Vol. 8. № 3. P. 487—531; *Grant B.* We are all Eurasian // *NewsNet*. 2012. Vol. 52. № 1. P. 6.

государственного строительства, и снизу — в виде реакции порабождённых народов», добивавшихся сохранения своей культуры и автономии «посредством сопротивления либо приспособления к имперскому правлению»<sup>13</sup>. Благодаря трудам Рибера в историографии закрепилось представление, согласно которому окраины континентальных империй — это «оспариваемое геополитическое пространство», с размытыми, подвижными и легко проницаемыми границами. И это больше нацеливало исследователей на выявление множества сложных взаимосвязей — межгосударственных, межкультурных, межэтнических.

Новое понимание характерных черт Российской империи предлагают история пространства (*space history*), занимающаяся его субъективным измерением и отвергающая прежний географический детерминизм<sup>14</sup>, и транснациональная история, освещающая «движение людей, товаров и идей через границы и материки». Их подходы лучше всего зарекомендовали себя там, где прослеживаются «пересечения» и культурные связи, в частности, при анализе процессов в тех регионах, где сталкивалось российское и османское влияние (Средняя Азия, Поволжье, Крым и Кавказ), или на русско-австрийском пограничье, в Польше<sup>15</sup>. «Государство» не играет в этих исследованиях основополагающей роли, основное внимание уделяется людям — их субъективному опыту, идеям и пристрастиям, наконец, формам идентичности, а этническое, языковое и культурное разнообразие раскрывается в контексте противостояния империй.

Не следует забывать, что империи — это всегда завоевания и соперничество, как военное, так и дипломатическое или экономическое. К XIX в. Россия, по общему мнению, уже являлась равноправной участницей «мира империй», она «понимала себя и действовала — дипломатически, экономически, дискурсивно — в рамках глобального имперского миропорядка, основанного на имперской экспансии и конкуренции»<sup>16</sup>. Однако традиционный геополитический подход активно увязывается теперь с развитием глобальной и экологической истории. Современная историография высвечивает такие «романтические» аспекты империализма, как сопутствовавший ему дух приключений и открытий, мечтания о завоевании природы и «торжестве европейской цивилизации над дикостью». Русские экспедиции, осмысленные как инструмент собственно «имперской» экспансии (в том числе интеллектуальной), всё больше привлекают внимание.

Не игнорируют зарубежные авторы и морскую стихию. За последние 20 лет в мировой историографии утвердилось мнение, что моря и океаны вовсе не препятствия, а скорее пространство взаимодействия, торгового и культурного обмена, движения населения<sup>17</sup>. Неудивительно, что и в русистике появля-

---

<sup>13</sup> Rieber A.J. The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early Modern empires to the end of the First World war. Cambridge, 2014. P. 1.

<sup>14</sup> Bassin M. Imperial visions: Nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East. 1840—1865. Cambridge, 1999; Russian empire: Space, people, power / Ed. by J. Burbank, M. Hagen, A. Remnev. Bloomington, 2007; Space, place, and power in modern Russia: Essays in the new spatial history / Ed. by M. Bassin, C. Ely, M.K. Stockdale. DeKalb, 2010.

<sup>15</sup> Empire and belonging in the Eurasian borderlands / Ed. by K.A. Goff and L.H. Siegelbaum. Ithaca, 2019. P. 2; Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. N.Y., 2010; Shatterzone of Empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands / Ed. by O. Bartov, E.D. Weitz. Bloomington, 2013.

<sup>16</sup> Bojanowska E.M. A world of empires: The Russian voyage of the frigate «Pallada». Cambridge; L., 2018. P. 5—6.

<sup>17</sup> Leikin J. Across the seven seas: Is Russian maritime history more than regional history? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. 2016. Vol. 17. № 3. P. 631—646.

ются монографии, в той или иной мере строящиеся вокруг «морской темы»<sup>18</sup>. Действительно, стремление к морю — один из тропов имперской истории, причём не только российской. Однако долгое время русисты, помня про «континентальный» характер России, находились под обаянием колонизации — освоения огромных территорий Евразии, и прежде всего Степи<sup>19</sup>. И наметившийся поиск «морских» сюжетов в русской истории свидетельствует о том, что прежняя классификация понемногу утрачивает свой вес. В частности, всё чаще отмечается условность противопоставления континентальных и заморских империй, поскольку путешествие, скажем, из Москвы в Омск вряд ли было легче, чем на пароходе из Марселя в Тунис<sup>20</sup>.

Общей тенденцией зарубежной историографии остаётся стремление к большей открытости. Так, и в русистике изначально превалявавшая склонность к глубокому погружению в отношения различных регионов с «центром» уступила потребности увидеть их место и роль в контексте всей империи и во взаимосвязи с «заграницей». Становление империи воспринимается при этом как процесс принципиально незавершённый, как *«work in progress»* — она постоянно строится, расширяя свои границы, как физические, так и ментальные.

**Строительство империи.** Существование Российской империи уже давно не отсчитывается с эпохи Петра I. В ряде современных работ оно охватывает период с середины XV в. до 1917 г., а иногда (особенно в публикациях журнала *«Ab imperio»*) и до 1991 г. Чаще всего её возникновение связывают с присоединением Казани Иваном IV (т.е., по сути, отождествляют империю и царство). Это облегчает анализ её особенностей в контексте общей истории Евразии, где, опираясь на наследие Чингисхана, Османская, Сефевидская, Могольская и Цинская империи вырабатывали сходные стратегии управления и типичную имперскую идеологию<sup>21</sup>.

В рамках такого, очень влиятельного в русистике, сравнительно-исторического подхода Россия выглядит как одна из типичных евразийских империй Раннего Нового времени, усиление которых происходило в течение XV—XVIII вв. по мере развития коммуникаций, формирования бюрократии и усовершенствования армии, обеспечивавших сильную, почти абсолютную власть правителя на обширных пространствах, населённых разнообразными народами. При этом центр (метрополия) безусловно доминировал над периферией, но подчинение покорённых народов и провинций осуществлялось на разных условиях. «Разнообразие» — ключевое слово для описания империи, возникшей в ходе завоевания, но сохранявшей на присоединённых территориях сложившиеся там формы управления, социальной организации и образа жизни. Большой вес в изучении «евразийского прошлого» России получила концепция «империи различий», согласно которой политика «дифференциации» по отношению к

<sup>18</sup> Jones R.T. Empire of extinction: Russians and the North Pacific's strange beasts of the sea, 1741—1867. Oxford, 2014; Roberts A. Migration and disease in the Black Sea region: Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. L.; N.Y., 2016; Sifneos E. Imperial Odessa: Peoples, spaces, identities. Leiden; Boston, 2018; Herlihy P. Odessa recollected: The port and the people. Brighton (Mass.), 2018.

<sup>19</sup> Khodarkovsky M. Russia's steppe frontier: The making of a colonial empire, 1500—1800. Bloomington, 2002; Sunderland W. Taming the wild field: Colonization and empire on the Russian steppe. Ithaca, 2004.

<sup>20</sup> Campbell I.W. Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries and Russian rule on the Steppe, 1731—1917. Ithaca, 2017. P. 10.

<sup>21</sup> Kollmann N.Sh. The Russian empire, 1450—1801. N.Y., 2017. P. 2.

отдельным группам населения (например, к остзейским баронам и сибирским охотникам) обеспечивала стабильность и целостность империи<sup>22</sup>.

«Евразийское прошлое» России не исключает и сравнений другого рода. В частности, процесс поглощения Казанского царства рассматривается и в контексте европейского государственного строительства<sup>23</sup>. Хотя при этом, разумеется, не отрицается значимость для Московского государства как монгольского, так и византийского политического и культурного наследия.

В исследованиях начального периода строительства империи особое внимание уделяется политике и риторике завоеваний, которые интерпретируются достаточно нейтрально: «экспансионизм» считается сегодня одной из существенных характеристик эпохи Раннего Нового времени как в Европе, так и в Евразии в целом. Прослеживая эволюцию обоснований экспансии, авторы указывают, что в XVI—XVII вв. актуальным «лозунгом» была «победа над исламом», в XVIII в. высшей целью стало достижение статуса великой державы, но никогда не исчезала и идея «возвращения исконных земель»<sup>24</sup>.

Исследователи отмечают гибкость политики Москвы, постоянно пересматривавшей условия своих «сепаратных сделок» с теми или иными народностями в том, что касалось объёма налогов и повинностей, форм местного управления и прав. В то же время они указывают на отсутствие в ней «системы и последовательности»<sup>25</sup>. Испытывавшей недостаток людей имперской власти приходилось действовать прагматично: там, где структура общества была более схожей с московской, цари даровали новым подданным фактически те же самые права и привилегии, какими пользовались и жители метрополии. К востоку от Казани Москва (как и её тогдашние соперники — Османская империя и империя Цин) принимала «политическую, социальную и культурную экологию Степи» и демонстрировала веротерпимость. Те же стратегии контроля со стороны центра применялись и к «инородцам» Сибири: государство не слишком вторгалось в их жизнь, и дань в первое время была довольно умеренной. Вместе с тем признаётся, что отсутствие «идеологии крестового похода» (*crusading ideology*) отличало православных завоевателей от католических конкистадоров<sup>26</sup>. Некоторые народности (как, например, башкиры) привлекались к защите степных рубежей. Но особую роль в этом играло казачество. Казаки выступали не только колонизаторами, но и посланниками царя, активно участвовали в освоении новых земель и развитии торговли. Одновременно под влиянием государства и контактов с местным населением происходило изменение идентичности этой мультиэтничной общности, о чём с интересом пишут зарубежные историки<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Burbank J., Cooper F. *Empires in world history: Power and the politics of difference*. Princeton, 2010.

<sup>23</sup> Romaniello M.P. *The elusive empire: Kazan and the creation of Russia, 1552—1671*. Madison (Wis.), 2012.

<sup>24</sup> См., в частности: Kollmann N.Sh. *Op. cit.* P. 5—6.

<sup>25</sup> Steinwedel Ch. *Threads of empire: Loyalty and tsarist authority in Bashkiria, 1552—1917*. Bloomington, 2016. P. 19.

<sup>26</sup> Steinwedel Ch. *Threads of empire...* P. 41; Kivelson V. *Cartographies of tsardom: The land and its meanings in seventeenth-century Russia*. Ithaca, 2006.

<sup>27</sup> Boeck B.J. *Imperial boundaries: Cossack communities and empire-building in the age of Peter the Great*. Cambridge (Mass.), 2007; Barrett T.M. *At the edge of empire: The Terek cossacks and the North Caucasus frontier, 1700—1860*. Boulder, 1999; Witzennrath Chr. *Cossacks and the Russian Empire, 1598—1725: Manipulation, rebellion and expansion into Siberia*. L.; N.Y., 2007.

На огромном расстоянии от Москвы власть царя поддерживалась по большей части символически, поэтому средствам её репрезентации и отразившим их текстам, включая «ментальные карты», уделяется повышенное внимание. Как правило, при этом говорится о формировании своего рода «наднациональной» идеологии, укоренённой в православии, об описании правящей династии как героической, харизматичной, способной защитить страну от врагов, а подданных — от несправедливости. «Правосудие и милость» — классические атрибуты правителя в евразийской традиции<sup>28</sup>. По мере включения Российской империи в европейские дела европеизировалась и её идеология<sup>29</sup>. К концу XVIII в., когда была установлена власть над Сибирью, началось продвижение на Дальний Восток и Аляску, удалось отвоевать у Османской империи часть черноморского побережья и произошли разделы Польши, складывается образ империи, несущей «свет цивилизации». Тогда же важной характеристикой её величия, наряду с военной мощью, становятся богатство и разнообразие подвластных ей народов и пространств. Подчёркивая отличия России, зарубежные историки констатируют, что реализованный ею вариант цивилизаторской миссии был типичным для европейских империй того времени, однако он не принижал зависевшие от неё этносы, будучи «интегративным, а не иерархичным»<sup>30</sup>.

Включение в состав Российской империи Средней Азии и Казахстана в XVIII—XIX вв. совершилось уже в европейском, а не евразийском культурно-идеологическом контексте. Было ли это аннексией или добровольным присоединением, каждый исследователь решает сам, но обычно учитывается, что те или иные государственные и протогосударственные образования, зажатые между более сильными соседями, выбирали Россию как «меньшее зло».

С конца XVIII в. империя активизирует в этих регионах сбор информации, которую русским администраторам предоставляли участники экспедиций, чиновники, военные и местные жители. В Казахской степи, например, он начался сразу после вхождения в состав империи Малой и Средней орды, однако массовым стал уже после учреждения в 1845 г. Русского географического общества; большой вклад в эту работу вносили «казахские посредники». Оказалось, что, вопреки мнению Саида, знание производилось в тесном сотрудничестве с теми, кому предстояло его затем навязать. Мощным инструментом имперского управления становится использование статистики («знания») для категоризации и гомогенизации населения<sup>31</sup>.

Изучение азиатских регионов Российской империи позволяет применить постколониальный анализ в практически чистом виде. Во второй половине XIX в., завоевав Среднюю Азию, Россия встала в один ряд с такими державами, как Англия и Франция; изменилось и её самоощущение, и способы управления, и лежавшая в их основе цивилизаторская риторика. Сам «научный»

<sup>28</sup> Kollmann N.Sh. Op. cit. P. 3—4.

<sup>29</sup> Имперская идеология XVIII в. исследуется достаточно активно, в том числе и нашими соотечественниками: Maiorova O. From the shadow of empire: Defining the Russian nation through cultural mythology, 1855—1870. Madison, 2010; Proskurina V. Creating the empress: Politics and poetry in the age of Catherine II. Brighton, 2011.

<sup>30</sup> Kollmann N.Sh. Op. cit. P. 451. См. также: Vulpius R. The Empire's Civilizing Mission in the Eighteenth Century: A Comparative Perspective // Asiatic Russia: Imperial Power in Regional and International Contexts / Ed. by T. Uyama. N.Y., 2012. P. 13—31.

<sup>31</sup> Campbell I.W. Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries and Russian rule on the Steppe, 1731—1917. Ithaca, 2017. P. 11.

дискурс того времени был европейским по существу и отсылал к современному, модерному колониальному строительству, с характерным для него стремлением «возвысить» отсталые окраины<sup>32</sup>. Так, в Европе и в России обсуждались приёмы, которые могли бы приучить кочевников к оседлому образу жизни, считавшемуся признаком «цивилизации». В мировой историографии история освоения русскими Туркестана анализируется именно в колониальном контексте и прямо или опосредованно сравнивается с происходившим в Британской Индии<sup>33</sup>. При этом в дореволюционных и советских проектах по обустройству и экономическому развитию региона обнаруживается отчётливая преемственность<sup>34</sup>.

Пищу для размышлений даёт и самая отдалённая, «настоящая» колония России — Аляска. Несмотря на то, что она недолго находилась в составе империи, в местной культуре до сих пор просматривается «российский след». И это позволяет по-новому раскрыть проблему эффективности «управления по-русски»<sup>35</sup>.

**Политика империи.** Управление империей остаётся самой актуальной и востребованной темой. При этом исследуется преимущественно политика, обеспечивавшая социальную стабильность и лояльность нерусских подданных.

Зарубежные историки изначально указывали на отличие «морских» держав, чьи колонии находились на большом удалении от метрополии, от России, Османской Турции или владений австрийских Габсбургов, расширявшихся обычно за счёт смежных территорий. Этим будто бы было обусловлено нерасторжимое единство колониальной и внутренней политики континентальных империй, и в результате возникала ситуация «внутренней колонизации», при которой государство относилось к подчинённым (субалтерновым) социальным группам, прежде всего к крестьянству, по сути, как колониальная администрация<sup>36</sup>. Однако в России, как свидетельствует целый ряд исследований, дело обстояло сложнее: «колонизируемые» в центральных губерниях русские крестьяне на азиатских окраинах выступали полноценными колонизаторами<sup>37</sup>.

Пытаясь проследить формирование русской имперской идентичности и выявить методы культурной ассимиляции, историки обращаются к политике русификации и христианизации, включая и такие прежде неочевидные её аспекты, как преобразование ландшафта и наделение тех или иных мест исто-

---

<sup>32</sup> *Sahadeo J.* Russian colonial society in Tashkent, 1865—1923. Bloomington, 2007; *Northrop D.* Veiled empire: Gender and power in Stalinist Central Asia. Ithaca, 2004; *Khalid A.* Central Asia: A new history from the imperial conquests to the present. Princeton, 2021; *Keller Sh.* Russia and Central Asia: Coexistence, conquest, convergence. Toronto, 2020.

<sup>33</sup> *Brower D.* Turkestan and the fate of the Russian empire. N.Y., 2003; *Morrison A.S.* Russian rule in Samarkand, 1868—1910: A comparison with British India. Oxford, 2008.

<sup>34</sup> *Obertreis J.* Imperial desert dreams: Cotton growing and irrigation in Central Asia, 1860—1991. Gottingen, 2017; *Peterson M.K.* Pipe dreams: Water and empire in Central Asia's Aral Sea basin. Cambridge, 2019.

<sup>35</sup> *Luehrmann S.* Alutiiq villages under Russian and U.S. rule. Fairbanks, 2008; *Miller G.A.* Kodiak Kreol: Communities of empire in early Russian America. Ithaca, 2010; *Vinkovetsky I.* Russian America: An overseas colony of a continental empire, 1804—1867. Oxford; N.Y., 2011; *Owens K.N., Petrov A.Yu.* Empire maker: Aleksandr Baranov and Russian colonial expansion into Alaska and Northern California. Seattle, 2015.

<sup>36</sup> *Эткинд А.* Внутренняя колонизация: имперский опыт России. М., 2013; *Sabol S.* «The touch of civilization»: Comparing American and Russian internal colonization. Boulder, 2017.

<sup>37</sup> *Peopling the Russian periphery: Borderland colonization in Eurasian history* / Ed. by N. Breyfogle, A. Schrader, W. Sunderland. N.Y., 2007.

рическими ассоциациями, имеющими сакральное значение<sup>38</sup>. Репрессивный характер действий властей в работах, как правило, не акцентируется (но, безусловно, учитывается). Одним из первых объектов исследования стали западные окраины России. Ещё в 1990-е гг. американец Т. Уикс писал о том, что русификация началась не при Александре III, а гораздо раньше — после подавления польского восстания 1863 г. Правда, проводилась она не последовательно и сводилась, по сути, к ряду мер, вызванных сиюминутными нуждами. Позднее присоединившиеся к разработке данной темы учёные показали, что внедрение русского языка в делопроизводство и образование отнюдь не означало тотальную культурную ассимиляцию. Империя по-прежнему демонстрировала этноконфессиональную толерантность<sup>39</sup>.

Вместе с тем насаждение русской культуры в южной и восточной части Российской империи (а позднее и СССР) рассматривается как инструмент европеизации и развития «отсталых» окраин. Не случайно исследователи обращают внимание на образование и просвещение, на углубление востоковедческих штудий, а также на возникновение модернизаторских движений среди нерусских народностей (в частности, джадидов и хаскала)<sup>40</sup>.

Большой массив литературы посвящён конфессиональной политике империи, которая ранее отождествлялась с национальной. Однако, поскольку в царской России религиозная идентичность была неотделима от национальной, а вероисповедание играло основополагающую роль в классификации населения, американский профессор П. Верт признал неисторичным использование такой аналитической категории, как «национальность», вплоть до 1917 г. По его мнению, управление империей зиждилось на религиозных институтах и понятиях<sup>41</sup>. Тем самым он солидаризировался с концепцией Р. Круза, увидевшего в России признаки «конфессионального государства»<sup>42</sup>. Разветвлённая сеть конфессиональных структур, действовавших в сфере образования и социального обеспечения, решавших правовые вопросы и судебные споры, наконец, заключавших и расторгавших браки, воспринимается им как «инструмент имперского управления». Впрочем, далеко не все согласились с концепцией Круза. Основная масса исследователей склонна писать о смешанной «этноконфессиональной политике».

В большинстве их работ, без каких-либо моральных оценок, реконструируется ситуация в том или ином регионе. Достаточно глубоко (а в каких-то аспектах и исчерпывающе) изучено Поволжье. Причём если сначала освещалась преимущественно политика «центра», то затем настала очередь мусульманства

---

<sup>38</sup> Kozelsky M. Christianizing Crimea: Shaping sacred space in the Russian empire and beyond. DeKalb, 2010.

<sup>39</sup> Weeks T. Nation and state in late imperial Russia: Nationalism and russification on the Western frontier, 1863—1914. DeKalb, 1996; Staliūnas D. Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam; N.Y., 2007.

<sup>40</sup> Dowler W. The classroom and empire: The politics of schooling Russia's Eastern nationalities, 1860—1917. Montreal, 2001; Geraci R.P. Window on the East: National and imperial identities in late tsarist Russia. Ithaca, 2001; Tolz V. Russia's own Orient: The politics of identity and Oriental studies in the late imperial and early Soviet periods. Oxford, 2004; Khalid A. The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998; Litvak O. Conscript and the search for modern Russian Jewry. Bloomington, 2006.

<sup>41</sup> Werth P. The tsar's foreign faiths: Toleration and the fate of religious freedom in imperial Russia. Oxford; N.Y., 2014.

<sup>42</sup> Crews R.D. For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. Cambridge, 2006.

и особых групп (к примеру, кряшен)<sup>43</sup>. Уже в значительной мере раскрыта «общественно-политическая» и социально-культурная роль ислама, показано участие мусульман в строительстве империи<sup>44</sup>. В бурно развивающейся иудаике, сосредоточенной прежде всего на проблемах еврейской идентичности, также пристально анализируется влияние правительственной политики<sup>45</sup>.

В исследованиях зарубежных русистов прослеживается общая траектория этноконфессиональной политики Российского государства<sup>46</sup>. В XVI—XVII вв. необходимость защиты рубежей преобладала над религиозными соображениями: в Московском царстве не стремились превратить тюркоязычное и финно-угорское население Поволжья, Степи и Сибири в русскоговорящих православных. С петровского времени и вплоть до смерти императрицы Елизаветы Петровны в Поволжье и Сибири практиковались массовые насильственные крещения язычников и мусульман. Затем наступила эпоха толерантности, и только в конце 1820-х гг. под влиянием идей «романтического национализма» с его обострённым вниманием к этнографическим особенностям различных племён и народностей возникло достаточно утопическое чаяние того, что в обозримом будущем все подданные империи станут православными и русскоговорящими. При этом в восточных регионах веротерпимость почти не нарушалась вплоть до гибели монархии.

Между тем с конца 1820-х гг. от Крыма до Аляски оживилась миссионерская деятельность. Как и в других колониальных империях, усиленно осуществлялось просвещение иноязычного иноверческого населения, в России получившее характер его русификации. В период «поднимающегося национализма», который считается частью «века империй», пореформенная Россия вступала одновременно с Европой. Активную русификацию в эти годы фиксируют главным образом исследователи западных окраин империи, и то с большими оговорками. Стремясь поддерживать стабильность и спокойствие в обществе и избегая трений с Османской империей и Персией, правительство придерживалось веротерпимости, особенно в южных регионах, за исключением Степи, где его руки были полностью развязаны, и политика русификации и христианизации велась достаточно свободно. Тем не менее вплоть до присоединения

<sup>43</sup> Werth P.W. At the margins of orthodoxy: Mission, governance, and confessional politics in Russia's Volga-Kama region, 1827—1905. Ithaca, 2002; Kefeli A. Becoming Muslim in imperial Russia: Conversion, apostasy, and literacy. Ithaca, 2014; и др.

<sup>44</sup> Campbell E. The Muslim question and Russian imperial governance. Bloomington, 2015; Frank A.J. Bukhara and the Muslims of Russia: Sufism, education, and the paradox of Islamic prestige. Leiden, 2012; Tuna M. Imperial Russia's Muslims: Islam, empire and European modernity, 1788—1914. Cambridge, 2015; Kane E. Russian hajj: empire and the pilgrimage to Mecca. Ithaca, 2015; Ross D. Tatar empire: Kazan's Muslims and the making of imperial Russia. Bloomington, 2020.

<sup>45</sup> Schainker E.R. Confessions of the shtetl: converts from Judaism in imperial Russia, 1817—1906. Stanford, 2017; и др.

<sup>46</sup> Помимо уже упоминавшихся монографий и сборников см.: Breyfogle N.B. Heretics and colonizers: Forging Russia's empire in the south Caucasus. Ithaca, 2005; Frank A. J. Muslim religious institutions in imperial Russia: The Islamic world of Novouzensk district and the Kazakh Inner Horde, 1780—1910. Leiden; Boston, 2001; Jersild A. Orientalism and empire: North Caucasus mountain peoples and the Georgian frontier, 1845—1917. Montreal, 2002; Kan S. Memory eternal: Tlingit culture and Russian Orthodox Christianity through two centuries. Seattle, 1999; Miller G. A. Kodiak Kreol: Communities of empire in early Russian America. Ithaca, 2010; Mostashari F. On religious frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus. L., 2006; Naganawa N. Molding the Muslim community through the tsarist administration: Mahalla under the jurisdiction of the Orenburg Mohammedan Spiritual Assembly after 1905 // Acta Slavica Iaponica. Sapporo, 2006. Vol. 23. P. 101—123; Skinner B. The Western front of the Eastern church: Uniate and Orthodox conflict in 18<sup>th</sup>-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. DeKalb, 2009.

Средней Азии в 1870-е гг. среди кочевников «киргиз-кайсацкой степи» ислам использовался в качестве «инструмента цивилизации», лишь затем его заменили православие и русская культура. После революции 1905—1907 гг. и особенно в ходе Первой мировой войны в условиях стремительного пробуждения национального сознания значение традиционной сословной иерархии и конфессиональной принадлежности снизилось, а провозглашённая в 1905 г. «свобода совести» стала идеалом, сохранявшим своё значение и в раннесоветскую эпоху.

**Падение империи.** Гибель Российской империи в какой-то момент оказалась на обочине зарубежной историографии, как и «парадигма 1917 г.». Кроме того, после распада Советского Союза многие искренне считали, что империи являются исторически обречённым типом государства, и по мере созревания национального самосознания на периферии они непременно разрушаются, уступая место более современной и совершенной политической конструкции. Однако конкретно-исторические исследования по мере накопления материала всё убедительнее опровергали эту схему. Характерные для империи методы «дифференциации» обнаруживались в практике национальных государств, а имперские власти занимались формированием наций. Дихотомия «нация—империя», как и другие идеально-типические конструкции, все меньше удовлетворяют профессиональных историков<sup>47</sup>. Откровенно прогрессистское представление о национализме как главном «могильщике» империй постепенно исчезает из их работ<sup>48</sup>. В последнее время в них больше говорится об этничности и культуре.

Только столетие Первой мировой войны заставило вспомнить о причинах и обстоятельствах исчезновения четырёх континентальных империй. Это позволило по-новому посмотреть и на Русскую революцию, хронологические рамки которой были существенно расширены. Теперь уже обычно пишут о «непрерывном кризисе» 1914—1922 гг. А некоторые историки предпочитают даже рассуждать об общемировом кризисе начала XX в., представлявшем единую цепь войн и революций.

В опубликованных «к юбилею» трудах представлена широкая панорама событий, происходивших в разных частях Российской империи<sup>49</sup>. Лучше всего специфика «имперского подхода» к данной тематике отразилась в фундаментальной монографии Дж. Санборна, использовавшего модель деколонизации. По его мнению, в ходе Первой мировой войны решалась судьба самого существования империалистического контроля. Кризис начался задолго до убийства в Сараево. В России же он прошёл несколько стадий, начиная с «имперского вызова» (его Санборн видит в Туркестанском восстании 1916 г.) и заканчивая «социальной катастрофой», перешедшей в «апокалиптический штопор» в период Гражданской войны. Между тем процесс крушения государства был запущен ещё в августе 1914 г., когда вступил в действие закон о военном положении на западных рубежах империи. В прифронтовых зонах возник вакуум власти, процветала анархия, за которой последовала экономическая разруха.

<sup>47</sup> Kivelson V.A., Suny R.G. Russia's empires. N.Y., 2017. P. 12.

<sup>48</sup> Детально проблема соотношения национального и имперского государственного строительства в Европе и Евразии в течение «длинного XIX в.», рассмотрена в сборнике: Nationalizing empires / Ed. by A. Miller, S. Berger. Budapest, 2015.

<sup>49</sup> Особенно показателен сборник, изданный в рамках масштабного международного проекта «Великая война и революция в России, 1914—1922»: The empire and nationalism at war / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014.

На фоне поражений и отступления армии в 1915 г. эти проблемы, проявившиеся сначала только в западных губерниях, быстро проникли в глубь страны. После Февральской революции казалось, что федерализм способен удовлетворить запросы местных элит при сохранении центральной власти. Однако борьба за национальные права выплеснулась летом 1917 г. на улицы, антиколониальные лозунги зазвучали и в метрополии, похоронив политический авторитет партии кадетов. Принцип «права наций на самоопределение», соединённый с крайне популярным лозунгом «мир без аннексий и контрибуций», получил поддержку широких масс. В дальнейшем, получив международное признание, в том числе на Версальской конференции, он стал неотъемлемой частью послевоенного миропорядка<sup>50</sup>.

Позиция Санборна во многом близка взглядам А.И. Миллера, который склонен искать причины распада империи в центре, а не в антиимпериалистических движениях на периферии<sup>51</sup>. В. Кивелсон и Р. Суни также указывают на постепенное ослабление метрополии и утрату ею прежнего авторитета<sup>52</sup>. Однако, по их наблюдениям, приёмы и принципы имперского правления сохранились и после падения царского режима. И это для них главный аргумент в пользу того, что «антидемократический» Советский Союз также являлся империей. Подспудное убеждение в том, что национальное государство, с равенством и правами человека — «лучшая» и наиболее «эффективная» форма организации власти, видимо, продолжает влиять на интерпретации историков.

\* \* \*

За последние 30 лет разработка имперской парадигмы в зарубежной русистике достигла зрелости. При этом, в отличие от «новой имперской истории» других регионов мира, в ней сохраняется устойчивый интерес к институтам, характерный скорее для эпохи господства теории модернизации. Тем не менее всё реже в исторических трудах встречается термин «модернизирующаяся империя» и всё чаще описываются различные формы, приёмы и инструменты империостроительства, касающиеся как «воображаемой географии» («присвоения пространства»), так и культурно-лингвистической консолидации населения.

Некогда широко распространённое мнение о том, что по сравнению с европейскими державами Россия проявляла меньшую склонность к насилию и большую толерантность по отношению к колонизируемым, теперь высказывается осторожнее и с оговорками. Поскольку прежние трактовки «тюрьмы народов» опровергнуты, историки всё реже упоминают про ту или иную уникальность российского империализма. А насилие как интегральная часть всякого колониализма активно изучается на материале как восточных, так и западных окраин России. В условиях заметного «полевения» мирового научного сообщества среди учёных набирает обороты «возвращение к истокам» — к социальной истории низов и угнетённых групп. В современной ситуации следует также ожидать

---

<sup>50</sup> *Sanborn J.* Imperial apocalypse: The Great war and the destruction of the Russian empire. N.Y.; Oxford, 2014.

<sup>51</sup> *Miller A.* The role of the First World War in the competition between Ukrainian and All-Russian nationalism // The empire and nationalism at war. P. 87.

<sup>52</sup> *Kivelson V.A., Suny R.G.* Russia's empires. N.Y., 2017. P. 266.

повышенного внимания к гендерным сюжетам — это одна из лакун в исследованиях Российской империи в рамках «новой имперской истории»<sup>53</sup>.

Перспективным направлением представляется изучение проблематики экоистории и в первую очередь — истории медицины и естественных наук, служивших освоению природных богатств России<sup>54</sup>. Несомненно, по-прежнему актуально и «человеческое измерение» прошлого, а фигура «человека империи» ещё не раз станет предметом биографического исследования<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Категория гендера применяется в литературоведении: *Layton S.* Russian literature and empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. N.Y., 1994; *Ram H.* The imperial sublime: A Russian poetics of empire. Madison, 2003.

<sup>54</sup> *Lynteris Chr.* Ethnographic plague: Configuring disease on the Chinese-Russian frontier. L., 2016; Eurasian environments. Nature and ecology in imperial Russian and Soviet history / Ed. by N.B. Breyfogle. Pittsburgh, 2018; Science and empire in Eastern Europe: Imperial Russia and the Habsburg monarchy in the 19<sup>th</sup> century / Ed. by J. Arend. Göttingen, 2020.

<sup>55</sup> Russia's people of empire: Life stories from Eurasia, 1500 to the present / Ed. by S.M. Norris, W. Sunderland. Bloomington, 2012; *Weislo F.* Tales of imperial Russia. The life and times of Sergei Witte, 1849—1915. N.Y., 2011; *Sunderland W.* The Baron's cloak. A history of the Russian Empire in war and revolution. Ithaca, 2014; *Akiyama T.* The Qırghız Baatır and the Russian empire: A portrait of a local intermediary in Russian Central Asia. Leiden, 2021.